В.В. Розанов
Смысл недавнего прошлого

По изданию: Собрание сочинений. Том 28. Эстетическое понимание истории. Москва, 2009 г.

Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» №12, 1894 г под одноименным названием.

Наблюдать, как человек не понимает чего-нибудь, и где, и почему он не понимает — бывает столь же поучительно иногда, как и видеть в другое время его прозрения, его нарастающий опыт, созревающий, наконец, ум...

I

Все время как бюллетени сообщали о ходе болезни покойного Государя, я думал, я всматривался: как же в целом своем, в выражении лица своего, в движениях, речах этот Петербург переносит тягостный, и, очевидно было уже для всякого, роковой недуг далекого и близкого существа; там, на берегу Черного моря, у Труженика за всю землю «пульс падает, отеки не уменьшаются», «дыхание затруднено, ночь проведена без сна», «отеки очень увеличились, дыхание очень трудно»... здесь, — эта же повседневная вереница никуда не спеша катящихся экипажей, с полулежащими фигурами роскошно убранных мужчин, дам. «Пульс быстро падает, дыхание очень затруднено»: всем знакомый, всеми виденный Человек задыхается, все видевшие добрые черты Его лица это знают, — и в другой час другою вереницею экипажи тянутся к залитому электричеством театру, его, *этого* задыхающегося человека театру — видеть... уж не знаю — «Паяцов», «Пахиту», слышать осипший голос Медеи-Фигнер.

Я не забуду этой темноты сознания целого города; ведь тут, в моменты этого страдания, при виде этой вот-вот готовой прерваться жизни — сливаясь в страхе с его Семьей, мы ожидали бы, сольется с Нею в забвеньи всех утех и этот город; и что в его трауром затянутых теперь стенах, в повязках крепа, в тряпках, «фланели», «сукне», «кашемире» в «кварталах» — теперь, когда молитва не спасет, страданье не облегчится, когда Тот, кому были нужны слезы и мы тогда не пла-

кали, видит не траурные только лица, но и сердца наши — уже с небес...

И вот, когда Его нет более и мы так быстро сменяем белый и черный галстуки, что, потупляя глаза, «продавщица» магазина говорит неловкому чиновнику, подавая белый: «Можете переодеться здесь», а снятый до завтра черный завертывает в бумажку[1], — в эти минуты, обращаясь к недавнему прошлому, я весь смысл его сливаю с этою тупостью, от которой мы должны и не умеем освободиться, с этою вялостью поблеклой, тусклой жизни, с этою слепотой, от которой когда же мы очнемся?

II

«Государю худо», — проговорила какая-то девочка-подросток, в полинялой ватной кофте, обращаясь к другой, перед бюллетенем на углу Большой Морской; за месяц до этого, когда Государь был в Спале, мельком, краем уха, я как- то кем-то дослышал произнесенные слова[2]: «Он угнетен душевно», «как бы в забытьи, он проговаривается о монашестве»... И вот, это налету запомненное слово и это тревожное восклицание девочки почему-то сплетаются в уме моем в один узел, растут, увеличиваются, заволакивают скучную действительность, от которой так хочется отвратиться, и, точно бледная полоска на горизонте утром — обещают, зовут новую действительность.

Как хочется новых идеалов; как хочется души другой в человеке, жизни новой какой-то при этом только что провезенном катафалке, еще не закрытой могиле, при мысли об этой так рано, так неожиданно прерванной жизни... жизни исполненной еще неразгаданного смысла.

...«Воистину, суета есть все, и жизнь есть тень и сон. Напрасно мятутся земнородные: приобретши мир — в гроб вселяемся, кряду — и цари, и нищие...»

...«Не пребывает по смерти богатство, не сходит в землю слава — пришла смерть и все потребила».

...«Молчалив и безгласен лежу среди вас: уста сомкнуты, руки перевязаны, ноги сплетены; угасли очи и не видят плачущих, замкнулись уши и не слышат стенаний, нос не обоняет курений ладана».

---

[1] Тут был один такой момент – наибольшей жгучей горести – когда, впрочем, именно только на момент, непременно нужно было каждому быть в белом галстуке, о чем множество «неопытных» не догадалось, и часов в 11 утра можно было видеть около Мариинской площади множество магазинов и даже простых лавочек, где спешно происходило срезание крепов и перемена галстуков.

[2] Вначале никто не знал, чем и насколько Государь болен, и в обществе носились самые разноречивые слухи. Я привожу один, действительно мною слышанный (но только раз) и оказавшийся безосновательным.

... «Все оставив — иду, чтобы предстать нагим и скорбным»[1].

Как это далеко от шума наших улиц; как не похоже на действительность. Где же подлинная действительность, в шуме ли этом, «Паяцах», «Пахите», «фланели» и «сукне» в кварталах, — в тех ли словах? Для *Него,* умершего, привезенного, через несколько дней закрытого в склепе — нет сомненья, для нас — мы останавливаемся, недоумеваем, смущаемся.

На путь не очень далекий, на срок не очень продолжительный мы все не умеем взглянуть с того конца, с которого Он уже видел этот путь, когда задыхался в Крыму, «отеки поднимались», «пульс останавливался». Нам путь этот кажется нескончаемым; так далек *час, наш* час... Его же час — еще не наш: то *его* забота, которой мы не знаем. Где же истина, кто ошибался, он ли тогда, мы ли теперь?

III

Нет ли масштаба более широкого, чем индивидуальная жизнь? линий более протяженных и однако указывающих на то же, что здесь, в жизни личной, в чертах миньятюрных мы не умеем рассмотреть?

«Жизнь только тень и сон» — неужели всякая? неужели не наша только? неужели «тень и сон» в жизни самой истории? И вот, как лепесток оторвавшийся от дерева, от этой иной великой жизни до нас долетают странные строки, которые так не схожи по складу, так схожи по смыслу с только что приведенными:

«...Уже ни для кого теперь не тайна, что перемены, произведенные в народной жизни внешними факторами прошлого царствования[2] — исключая, конечно, личного освобождения крестьян от власти помещиков — в большинстве случаев суть перемены не вполне и даже прямо неблагоприятные. Урегулирование поземельных отношений обратилось на практике в прикрепление к определенным обществам, а следовательно, и к определенному местожительству всех помещичьих крестьян и в наделение большинства их недостаточными наделами. Безземелье и недостаточные наделы поставили крестьян в зависимость от соседних землевладельцев, — зависимость, которая иной раз ничем не уступает крепостной зависимости. Иногда реставрируются даже самые внешние формы, в которых некогда выражалась крепостная зависимость; так, напр. крестьяне, поселенные на землях многих землевладельцев приазовского края, являются к «барину», роль которого часто играет просто разжиревший кулак, по праздникам и в дни се-

---

[1] Из погребальных канонов.
[2] Говорится о только что закончившемся царствовании Императора Александра II.

мейных торжеств «барина», с поздравлениями и приносят ему на поклон что-либо из сельских произведений — гусей, кур, поросят, молока и проч., целуются с «барином» и «барыней» или даже подходят «к ручке», получают из «барских» рук чарку водки и т. д. С другой стороны, все прочие реформы: земская, судебная, школьная и другие дошли до народа только в виде нового денежного налога, «по стольку-то с души». Увеличение податей, необходимое для поддержки и проведения этих реформ, привело к накоплению недоимок, употреблению крайних средств для собирания платежей, и, наконец, к закабалению крестьянина деревенским ростовщиком-кулаком; все это привело к страшному обеднению народа.

Эти внешние факторы вызвали к жизни целый ряд крайне печальных явлений в народном быте. Выделилась из народной массы группа людей, сумевших воспользоваться общими бедствиями для собственных выгод. Кулак - явление давно известное в народной жизни; но та необыкновенная сила, которою он владеет теперь, те удобства, которыми в настоящее время обставлена его деятельность - все это явления небывалые в прежнее время. Держа массу народа в полной экономической зависимости, кулаки подчинили своей воле и заставили служить себе все те учреждения, которые издавна существовали в народе и служили выражением народной идеи справедливости. Таковы сельские сходы, крестьянские суды, обычай «помочей» и т. д. Как на пример того, до какой степени подчинили себе кулаки эти народные учреждения, можно указать на приговоры сельских сходов о высылке в Сибирь членов сельских обществ, почему-либо неприятных кулакам.

Попирая, таким образом, выражающуюся в народных учреждениях идею справедливости, кулаки явились крайне развращающим примером в деревне. И этот пример действует тем сильнее, что почва для восприятия этого действия очень и очень подготовлена. Экономическая зависимость, бедность, доходящая во многих местностях до того, что население значительную часть года питается, вместо хлеба, всевозможными «подспорьями» — соломой, корой, травами и т. д., необходимость так или иначе уплатить подати, — вес это принудило мужика направить все свои мысли на добывание денег. Как ни добыть, да добыть. А тут, как раз перед глазами, в лице кулака живой, убедительный пример того, как привольно и спокойно живется человеку, когда он не особенно церемонится со своею совестью и с «святыми преданиями». И вот, под влиянием, с одной стороны, необходимости добыть деньги во что бы то ни стало и развращающего примера кулака — с другой, происходит полный переворот в правовых понятиях крестьянина и в его отношениях к «миру», соседям, семье и вообще к людям. Общественные дела, как не могущие дать тотчас же непосредственной выгоды - а

именно это и нужно — становятся для большей части вещью второстепенною, а то и просто неважною, пустяшною, которою если и занимаются, то просто потому, что при этом можно водки выпить. Правда в отношениях к ближним, правда семейных обязанностей и прав, честность, целомудрие — все это становится в подчинение к главной цели: к добыванию денег. Начинается разложение общины и семьи; обычное право падает»[1].

Какие великие надежды здесь погребены? Какие ожидания были, и шум встречи... и эти слезы проводов.

«Приидите, узрим на гробах ясно: цвет опадающий, дым рассееваемый, роса утренняя обсыхающая — наша жизнь...»[2].

Разве не то же это? не тот же разве срок, и даже меньший? *Я* живу шестьдесят лет, — дела, идеи, надежды мои, моего поколения надежды и чаяния «усыхают» во цвете лет, в возрасте 25-30 годов.

IV

«И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем; потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый? а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем»[3], — эти слова, три тысячи лет назад подуманные, не повторялись ли, в терминах иных, но с смыслом тем же, десять-двенадцать лет назад поколением, так жарко трудившимся на ниве истории, так напрасно трудившимся... Не «льстимся» ли мы «красотой померкающей»? и что в том, что на моем лице сегодня должна померкнуть эта красота, на лице недругов вчера она померкла: факт тот, один остающийся, для всех грозный — что именно всякая надежда померкает, лицо «обесцвечивается как высохшая зелень» и всякий труд — напрасен.

Ограничение горизонта человеческих надежд и составляет истинную значительность истекших 13 лет; наши цели к нам приблизились; крылья сложены, ноги прочнее стоят на почве; самая почва под нами не движется: это место, на котором я стою — могила моя, моих детей; возлюбленное, единственное место, мне на земле принадлежащее.

---

[1] «Отечественные Записки», 1882, № 9, сентябрь, отдел «Современное обозрение», стр. 41 и след. По времени появления, эти строки есть как бы заключительное слово о всей эпохе реформ царствования Александра II, и, проредактированные Щедриным, они не могут быть заподозрены в желании набросить тень на это царствование, выразить не простой факт.

[2] Из другого погребального канона.

[3] Екклезиаст, II, 18-19.

V

В царствовании столь тихом, столь чуждом новых и важных перемен, совершилась неощутимо для всех перемена значительнейшая, нежели во все предыдущие: кто им облагодетельствован[1], но отчего на лицах всех восторг? Какой блеск, какая слава его сопровождала, но отчего этот странный, невиданный еще, взрыв любви при гробе? Эти необъятные толпы народа, полсуток ожидающие в сырости, мгле минуты — взгляд один бросить на лицо усопшего, поцеловать образ, у него положенный на груди?

Во всем, что доносилось до народа о Царе, он узнал в этом лике давно желанные, давно ожидаемые, родные и его, народному лику, черты. И в самом деле, мы говорим «царственный ум» и не подразумеваем ума самого точного, самого обильного сведениями, ни даже ума самого проницательного, тонкого; мы говорим «царственный характер» — и вовсе не относим его к деятельности, подвижности; «царственный поступок» — это не самое выгодное дело, не подвиг особенно блестящий. Итак, то имя, откуда взяты все эти эпитеты, не есть символ политического положения, каких-нибудь прав, власти, силы. «Царственный ум» это ум озирающий все подробности, многие из них упускающий из виду, но не упускающий их всех средоточия, ум центральный, целостный, видящий меньшее как степени и отношения к главному; «поступок царственный» — это великое самопожертвование, это отказ от владычества, где оно оскорбляет, от власти, когда она теснит, это — высокое смирение перед законом неисповедимым, образ «раба Божия» даже и в венце; то же значение имеет выражение «царственный характер». Итак, значение нравственное гораздо более присуще имени царя, нежели смысл политический, но и это значение не исчерпывает его содержания: царь-это высший человек, которому слабости человеческие особенно чужды, которому идеальные, светозарные черты — особенно свойственны; то же, что гармония в инструменте: все в нем важно, и дека верхняя и нижняя, и струны, и винты, к которым они прикреплены, но важно только в отношении к звукам, которые все эти части издадут в своей целости. Царь есть тот, в ком гармонизуется историческая жизнь; все для этой гармонии служит, и в то же время эта гармония святит все собою, санкционирует другое, что ее окружает. Конечно, гармония эта должна быть прекрасна; конечно, царь должен быть прекрасен; он должен быть более человек, чем

[1] Т. е. мы разумеем столь резко выраженные и массовые благодеяния, как освобождение крестьян в позапрошлое царствование.

мы, без наших смешных недостатков, слепоты, пороков; царь должен быть праведен.

Церковь наша святая не молит о нем как о реформаторе, победителе, но только как «о благочестивом» человеке; ранее всякого успеха внешнего[1] народ наш хочет быть чист душевно; тому и другому отвечая, царь есть чистый от порока человек, насколько это возможно на земле, — чистый от порока в себе лелеемого, послабляемого, от преднамеренной слепоты, от всякого лукавства. Слова об усопшем Государе его в юности скончавшегося, старшего брата: «Берегите его — это душа кристальной чистоты» тронули всех, как не тронуло бы, конечно, никогда какое угодно увеличение территории нашего государства, купленное ценою вероломства, обмана злейших наших недругов. Обстоятельствами жизни, нуждою, зависимостью мы все пригнетены; мы сужены в природе своей; имея залоги к лучшему, мы следуем худшему, однако никогда — без боли душевной некоторой; перед собою, перед глазами народными дорого поэтому видеть человека, над которым не господствует никакая нужда, зависимость[2], и он осуществляет свободный идеал человека. Несвязанность его действий чем-либо есть поэтому требование, входящее в самое его понятие: ибо благо, вынужденно творимое, менее благо, нежели даже зло, творимое свободно; такое благо есть явление физическое, почти как дождь в засуху, и оно ниже, чем гнев, чем разрушающая буря страстей, потому что в них мы имеем акты божественной души человеческой. В ком-нибудь, хотя бы в одном, человеку нужно видеть эти акты совершенной свободы, в *одном* только он и может их видеть, ибо два — они ограничивали бы уже друг друга, были бы несвободны, теряли бы существенное свое определение и следовательно исчезали бы вовсе. Идея царя поэтому есть идея таинственная и священная в истории; к ней привязаны глубочайшие, мистические нужды человека. Жалок народ, который слеп к ней; во-

---

[1] «Среди множества разных дел, возникающих в нашей общественной жизни и литературе, есть в настоящее время только три существенные: дело народного образования, дело матерьяльного самосохранения народа (вопрос продовольственный и санитарный), и, наконец, дело религиозной свободы», – так еще в нынешнем году определял нужды народные публицист, имени которого мы здесь не хотим назвать («Вестник Евр.», март, стр. 906). Не возражая ничего против каждой порознь из этих нужд и указывая лишь на *порядок* их размещения, а равно на *упущенное* среди их, мы вынуждены сказать: вот то, что можно назвать *не* центральным, *не* царственным умом. Это не Зевс смотрит на нужды людей, а какая-то курица, подбирающая себе зерна и негодующая па небо, на мир – что этих зерен мало, что они недостаточно вкусны.

[2] Т. е. во внутренних отношениях, которые одни и видны народу.

обще, у народов[1] она и отсутствует; наш народ был так счастлив, так даровит, он так провиденциально предъизбрал, что возвысился до этой святой, праведной, необходимой идеи.

Царь есть тот, о ком радуется, кем светится или, напротив, темнится и скорбит народ. Не нужно успехов ему[2] — это не дело рук человеческих; не нужно нового, капризного[3] — это унижение для человека; не нужно дождя указов, законов — он засевает, закрывает как пелена от глаз главное. Нужно народу, чтобы он был совершенен — в этом его функция; чтобы был праведен, чист; чтобы не закрывалось солнце, от которого и я в моем унижении, грязи, темноте мог бы зажечь свою свечу; чтобы умирая недостойным, я мог взглянуть на одного, который достоин.

VI

Многими, кажется, было замечено, что в отличие от деятельного характера народов западных наш народ отличается существенным образом характером пассивным; идея «прогресса», как неопределенного движения вперед — ему непонятна и, кажется, враждебна в высшей степени; мы поясним, что эта идея вытекает из высшего неведения человека: иду вперед, иду не останавливаясь, я тогда лишь, когда во всяком месте, куда бы я ни пришел, мне не хорошо. Пустота душевная, не в смысле легкомыслия, но в смысле отсутствия внутреннего насыщения, вечного и неутолимого алкания, есть постоянное ощущение

---

[1] Т. е. у западных и даже в прежнее время, где roi, rex, βαδιλεύς König – есть олицетворение этнографического единства племени, вождь дружины, созидатель-строитель государственного здания, и, как наследник таковою, в настоящее время – главный мастер при работающей административной машине, труженик за рабочим столом с своими министрами (в особенности – короли Германии и Австрии). У нас идея царя есть нравственно-историческая; с народом он теснее слит, нежели с чиновничеством; он ее и, явление скорее бытовое, чем административное; необходимое – но более для покоя сердца, нежели для безопасности страны. Так понимается народом, чувствуется в истории.

[2] Мы говорим о царе. Замечательно, что самые «успешные» царствования не суть самые чтимые, любимые у нас, и не только в народе, но и в историографической науке, если не принимать во внимание официальных ее оттенков (царица Екатерины II) Алексей Михайлович был очень мало «успешен» в делах и очень тепло любим. Но и в новой истории царствования, например, императора Павла I, с его «ящиком», при посредстве которого он надеялся, наконец, узнать все скорби народные, истребить все каверзы и обиды в его среде – трогательно, дорого, хотя, конечно, не было вовсе успешно, для современников было очень тяжело. Кажется, русский народ оценивает государей своих только в мотивах и нисколько не в фактах.

[3] Мы разумеем тот тип правителя *удивляющего,* который очень характерно выражен в молодом германском государе.

западного человека; можно сказать, он не знает идеала как формы, но только как цель возможную[1]; нечто манящее, но не действительное; нет степени богатства, которого ему было бы довольно[2]; нет господства, которого он не хотел бы расширить[3]; нет искусства (в грубом смысле), усовершенствования, которого он не хотел бы еще усовершить, улучшить, как-нибудь приспособить к новому, изменить в самом себе[4]. Каждый год человек западный встречает ожиданием: «Что еще нового принесешь ты нам?» и каждого человека: «Что есть у тебя, чего я не знаю, не имею?».

Статический, неподвижный характер нашего народа вытекает из того, что он знает идеал как некоторый status quo[5], как норму, как действительность скорее полуразрушенную, нежели вновь построяемую. Боль об этой разрушенной действительности наполняет всю нашу историю, проникает весь народ; не в «Исусе», не в «двуеперстном» сло-

---

[1] «Если бы в одной руке мне предложили *всю* истину, и в другой – *вечное стремление* к ней – конечно, ни на минуту не колеблясь, я выбран бы второе» (слова Лессинга).

[2] общинный быт наш скорее всего объясняется отсутствием *слишком* большой жажды обогащения в каждом порознь «Отчего ты не живешь так, как твой сосед-колонист?» – спрашивал у мужика один администратор; – «мы не можем»; «подлец, да почему же *он* может?» – «потому что он колонист»; «а ты почему не можешь?» – «потому мы не колонисты». Администратор, передавая мне этот разговор, в то же время заметил, что дававший столь идиотские ответы на счет своего хозяйства мужик, во всем, кроме этого странного диалога, был умнее, смышленее своего соседа-колониста. Но не этот ли смысл имеет ответ мужика: «колонист весь живет в своем огороде, он для него и родину бросил, и «от Христа отрекся», наконец, глуп даже сделался, а мне нужно и к куме сходить, и в трактире побывать, и в храме Божием свечу поставить я не могу и *не хочу* работать, как он, я создание Божие, а не корова». Также напряженность эксплуатации рабочего у наших фабрикантов не имеет и тени той интенсивности, как на Западе: известный Мальцев, отлично обставив *быт* рабочих, дав нажиться около себя сотням людей, сам разорился; приказчик обычно разживается около своего хозяина, *не излишне зорко за ним* смотрящего, и начинает годам к 40 свое «дело». Кажется, подобной действительности, как *бытового* факта, *не* как *исключения,* нет на Западе.

[3] Большая часть войн на Западе – завоевательны; у нас – почти все оборонительны. В некоторых случаях они велись в целях «возвратить дедовское наследие».

[4] Отсюда доходящий до вычурности комфорт в быте, совершенство в формах труда – на Запале: русский «и сеялки не изобрел» (Тургенев) – к великому благу, – не в себе самом, но в соотношении с бесчисленными другими благами, которые ему остаются с неизобретенною веялкой (как, например, земельная община).

[5] «Земля, которая обычаи свои перестанавливает – и та земля недолго стоит», – высказались отцы-грамотеи Стоглавою собора; раньше, в домосковском периоде, новгородцы со всякого вновь призываемого князя брали запись: «править по старине», «старины не рушить»; позднее, Венедикт, основатель секты чувственников, учил: «Хотя б кто в староверчество пришед окрестился снова, хотя б без того был в нетовщине, или при беглых Великороссийской церкви попах в поповщине: но *если старину содержит, нет в самой вещи ко спасению никакого препятствия».* Вот где тайный стимул раскола, и, прибавим, также тайна от него исцеленья.

жении, не в поправлении книг церковных[1] источник нашего раскола, этого отпадения бодрых, полных силы, поистине лучших[2] частей нашего народа от идущего вперед главного русла нашей истории, — как не в «пролетариате», не в дурных законах, не в злоупотребляющей администрации лежит причина этого другого отпадения, какое мы наблюдали и отчасти еще наблюдаем в свежей, юной, зеленеющей верхушке нашей народной кроны. «Мир лежит в грехе», «нет спасения в мире[3] — вот более чувство, нежели определенная мысль этих «бегунов», «нетовцев», «морельщиков», «тельников», бесчисленных других сектантов, которые в этом как бы обваливающемся[4], рушащемся мире (но не в мире недостроенном) считают невозможным оставаться в каком-либо покое, перебегают из веси в весь, укрываются в лесах, в холодных пустынях Севера, не останавливаясь, спасаясь от какого-то позади лежащего ужаса, без всякой надежды впереди[5] — подобно тому

---

[1] Они и прежде поправлялись; сверх того, раскол *назревал* уже гораздо ранее Никона в форме общего и смутного недовольства «переставлением» святоотеческого обычая.

[2] Раскол, возрастая, «вербуется из талантов», замечают исследователи – наблюдатели, и мы все знаем, до какой степени по благообразию быта и рассудительности в собеседованиях раскольники превосходят остальную массу крестьянства.

[3] «Нет *ныне,* в мире ни православного священства, ни таинств, ни благодати, – и желающим содержать старую веру остается только прибегать к Спасу, который сам ведает, как спасти нас бедных» (учение раскольников Спасова согласия или нетовцев).

[4] «Нет *ныне* уже церкви и прямая вера погибе *на земли:* ее бо Антихрист настал» – слова одного из вождей раскола. Антихрист понимается многими раскольниками в духовном, отвлеченном смысле, как совокупность представляющих *отступление* от христианства условий жизни, как некоторая разрушенность целостной христианской жизни.

[5] Вот трогательные и поразительные слова, характеризующие это особенное состояние духа в признаниях раскольника-сыноубийцы: «Однажды ночью печаль моя о том, что все люди должны погибнуть в нынешние времена, сделалась так велика, что я не мог уснуть ни на минуту и несколько раз вставал с постели, затепливал свечи перед иконами и молился со слезами на коленях о своем спасении и спасении семейства своего. Тут мне пришла на ум мысль спасти сына своего от погибели вечной, и так как сын мой Григорий, единственное детище, был очень резв, весел и смышлен не по летам, то я, боясь, чтоб он после смерти моей не развратился в вере и не погиб навек в геене вечной, решился его зарезать. С этою мыслью я вышел на заре в задние ворота и стал молиться на восход, прося у Спаса знамения, что если после молитвы придет мне снова мысль эта в голову с правой стороны, то я принесу сына в жертву Богу, а если слева, то нет; потому что, по мнению нашему, помысл с правой стороны есть мысль от ангела, а с левой – от дьявола. По окончании длинной молитвы помысел этот пришел с правой стороны, и я с веселием в душе возвратился в избу, где сын мой спал вместе с женою моею на коннике (широкая лавка). Опасаясь препятствий со стороны жены, я нарочно разбудил ее и послал за овчинами в дер. Перво, а сам, оставшись с сыном, сказал ему: «Встань, Гришенька! Надень белую рубаху, я на тебя полюбуюсь». Так рассказывал сыноубийца. Мальчик надел белую рубаху и лег на лавку в передний угол. Отец подложил ему его шубку в головы и, заворотив вдруг подол рубашки, нанес ему несколько ударов ножом в живот. Мальчик затрепетал и начал биться, так что постоянно натыкался на нож отца, отчего на животе его

как перескакивая со льдины на льдину бежит, не оглядываясь, человек, под которым внезапно взломало лед. И так же точно не в ряды чиновников идут, не пытаются, приняв высокий сан, повлиять на администрацию неопределенно тоскующие юноши наши; соединяясь в «согласия»[1], оставляя родительский кров, «бежав» из общества, они как и те темные люди с веригами на ногах, но только без вериг, без Бога, с пустынею в душе пытались и нередко еще пытаются в быте, в труде ежедневном, во взаимных отношениях воссоздать какую-то целостную жизнь на место прежней, оставленной. Там и здесь, на этих двух полюсах русской действительности, мы равно видим какую-то «нетовщину», отвращение к целостной жизни, жажду не перемены, не строительства и труда, не идеала влекущего, но — нормы, закона над собою, насыщающего сердце теперь и здесь. Можно сказать, идея прогресса, как неопределенного совершенствования, как улучшения вообще, идея так обнимающая всю европейскую цивилизацию и наполняющая ее трудом, надеждою, равно отсутствует, равно враждебна «бегуну», старообрядцу, всякому русскому.

VII

И объединяя эти полюсы, рассматривая все прочие явления русской действительности как ступени, как недоразвития до этих двух отрицаний, двух жажд, — отбрасывая в самой этой жажде уродливое и временное, мы скажем, что некоторая праведная жизнь как *быт,* как

оказалось множество ран. Тогда отец, желая прекратить страдания сына разом, распорол ему живот снизу доверху... Мальчик потерял силу сопротивляться, но не умер в тот же момент. Заря, занявшаяся на востоке, светила детоубийце в окно при совершении преступления; но когда сын был зарезан, то в окнах вдруг появились первые лучи восходящего солнца и багровым светом упали на лицо невинной жертвы. При этой случайности, убийца встрепенулся, руки его дрогнули, нож выпал из рук, и он упал перед образом на колени с молитвою, прося Бога принять милостиво новую жертву. Дело это должно было разбираться во Владимирском окружном суде; преступник, Михаил Куртин, Вязниковского уезда, деревни Слободищ 57 лег, принадлежал к так называемому Спасову согласию, одному из толков беспоповщины. Прежде решения дела, преступник, заключенный в острог, уморил себя голодом.

[1] По путям неопределенно движущегося вперед развития — люди расходятся, отделяясь в партии, «сеты»; замечательно, что народ наш не знает слова «секта» (отделение), но факт, по форме один с западноевропейским сектантством, у нас называется «согласие». Глубоко творческий, зиждущий, положительный характер народа нашего сказывается здесь, как полярная противоположность отрицательному, скептическому, разрушительному характеру народов западных. Там человек радуется отделению, как выделению своего я, его обособлению; русский скорбит об этом, и даже отделяясь (секты) – думает, что он *соглашается,* вливается как капля в морс новой истины и людей, по этой истине живущих.

строй, как *целостность*[1] человеческих отношений есть вечная, главная мука русской души, как она выразилась в истории, продолжает выражаться теперь. Вот почему навсегда останутся напрасны у нас надежды на закон, указ, реформу, которые завтра произведут лучшее, чем что мы имеем сегодня; они только дальше и дальше взломают взломанный уже лед; страха внутреннего, смятения душевного будет еще больше; и те, которые в слепоте своей, не давая отчета, потеряв в себе себя, думали, надеялись, что и в самом деле этого улучшения им нужно[2] — завтра обагрят кровью это новое лучшее, своею ли, чужою ли, но только как невыносимое. И вот почему царь-реформатор в крови, не производивший никаких реформ — оплакивается; в заточении — самонадеянный патриарх, «блажен» — юродивый нищий[3]. И всякий, кто жиз-

---

[1] Крошечный факт, миниатюрная черта действительности иногда также характеризует ее, как и крупный факт: в поездке московско-нижегородской железной дороги, в вагоне 3-го класса, сидело несколько молчаливых пассажиров; поезд тронулся, и, как всегда на этой дороге, все перекрестились; никто не прерывал молчания. «Кроме мощей святых угодников, провалиться ей всей, Москве», – вдруг прервал общую тишину господин лет 35, в европейском костюме, и сплюнул гневно на пол. Все были удивлены этим восклицанием, ни к кому не обращенным. «Почему так?» – спросил я его. Не помню точных слов его ответа, но смысл их был тот, что Москва не имеет в жизненном строе своем никакой упорядоченности, каждый живет как хочет и вообще живет скорее безобразно, чем сколько-нибудь сносно, красиво с моральной стороны: *«...у* нас (он не объяснил где «у нас») в праздник богатые люди оденут хорошую одежу и всякий со своей женой выйдет на главную улицу, а тут я посмотрел...», etc.; возьму другой полюс: в известном романе Чернышевского не развиваются предположения о лучших *условиях* действительности, нет соображений, намеков, нет динамического элемента: в известных трех *снах* героини романа представлена новая действительность уже как бы изваянная, т. е. как форма и вовсе не как процесс; у Достоевского, который так же не любил действительной жизни, действительность лучшая представлена в виде полета на *новую планету,* где заснувший самоубийца видит новый род людей, еще не развращенный, без греха («Сон смешного человека» в «Дневник писателя»). *Я* указываю только немногие и незначительные штрихи; я хочу сказать, что страстно отвращаясь, страстно жаждая, западный человек *изобретает:* он переходит к процессу, русский – воображает, он переходит к форме; первый есть мыслитель, второй *созерцатель.*

[2] Замечательно, что, *по-видимому,* желая лишь «правового порядка», из-за него совершая все преступления, – подземные темные силы совершили последнее и главное преступление (1-го марта) почти накануне осуществления этого порядка, в дни «диктатуры сердца», когда всякая надежда завтра могла оправдаться, никакое усилие не осталось бы бесплодно.

[3] Мы разумеем Василия Блаженного, над которым в день кончины собрались с таким умилением царь, патриарх, народ московский. Сравни, правда в раскольничьих сочинениях, отзывы о «мордвине» Никоне, дышащие непонятною в русском раздражительностью именно к самоуверенности его гордого ума, к решительности его «взломать лед». В то же время кроткий и тихолюбивый Алексей Михайлович изображен с нежностью, ему все прощено, хотя именно с его соизволения было все сделано.

нью, словом, жестом выразил, что понял это главное[1] возлюблен; кто этого не увидел, какие бы дары с собою ни нес — пренебрежен, забыт.

VIII

Эта главная тайна нашей истории была не столько постигнута, как осуществлена покойным Государем: все спрашивают[2] — «что он сделал?» и все плачут, не понимая, не давая себе отчета, неудержимо. Он ответил вековечной жажде народа своего — к покою; но этого покоя, но этой вековечной жажды он не понял презренно как квиетизм, самодовольство, «консерватизм»[3], но как некоторую красоту неподвижную, как благообразие целостной жизни, выразимся языком наших древних памятников, требованием лучших частей нашего народа — как некоторый «благочестивый быт». Мы в самом начале привели слова погребальных канонов, где человек оценивается в целом, с некоторой окончательной точки зрения, — где суета опала с него и он стоит «наг», «безобразен», исполнен «страха», оплакиваемый. Конечно, такова есть подлинная действительность; конечно, жалок человек и особенно он жалок в своих усилиях; но важно понять это не в момент, когда уже глаза закрываются, когда всякое знание не может принести плода, но именно при исходе в жизнь: и именно тогда[4], именно так была понята жизнь нашим возлюбленным оплаканным Монархом. Он не предпринимал нового; но в храмине бытия нашего, в укладе народной жизни, где так многое переменив ничего не улучшили[5] реформаторы, он твердо, без славы, без шума поднимал балку за балкою и устанавливал

---

[1] Например, в новейшей нашей литературе все пассивное выше ценится, нежели деятельное: Гончаров – любимейший писатель, гениально выполненное «Горе от ума» вызвало насмешливые замечания в таких двух людях, как Пушкин и Достоевский, умолчание – со стороны Гоголя; Пушкин несравненно шире, благоговейнее чтится, нежели Лермонтов, хотя в *однородном* всюду уступает ему, и, следовательно, был слабее в силах, хотя, конечно, прекраснее и богаче. Герои нашей литературы все от Онегина и до новейших (у Тургенева) немножко смешны – именно потому, что слишком суетливо, самонадеянно *деятельны.*

[2] Тот час по смерти покойного, собираясь в группы, чиновники и писатели, иногда по нужде почти служебной, искали формул для содержания завершившегося царствования, но не сразу их находили.

[3] Куда, по-видимому, действительно он манился некоторыми. См. в начале его царствования оживленные воспоминания – напоминания о Николае I, которым всем суждено было обмануться. Ибо нет более диаметрально-противоположного, как характер, значение, вероятный результат этих двух царствований.

[4] Страшная кончина его Отца, без сомнения, потрясла Его, и, в момент восшествия на престол, как бы дала заглянуть в бездны гроба и понять, что есть жизнь человеческая. Эта высокая и истинная точка зрения уже не оставлялась им во всю жизнь.

[5] См. выше приведенную, заключительную характеристику царствования Александра II, сделанную самими «реформаторами».

все на месте; весь труд строительства государственного свелся не к надеждам новым, не к манящему, но к упорядочению, утверждению, расчистке прежнего: и всем стало удобнее, лед под ногами окреп, ноги не дрожат, руки никуда не протягиваются[1] в страхе, каждый понял, что *здесь* и *теперь* он призван стоять наилучше. Вот это лишь внешность, лишь несущественное: он, свет страны своей — из себя бросил тот свет благообразия, тот идеал красоты неподвижной и покорной высшим законам, которого одного жаждет истинно русская душа; он был для всех исполнившимся сновидением. Никто у могилы его не вспомнил об институте земских начальников, ни о приделках к новому суду, ни даже об укрощении эры «хищений»; лишь газеты говорили о ненарушенном в Европе мире; нет, не это все в нем было дорого, и кто же *слезы* прольет о том, что не было войны с Германией? плакали о человеке, о груди в порфире, которая билась теми же страхами[2], ожиданиями, заботами, как и каждая грудь под сермяжной дерюгой, — о голове, которая и в венце не забыла о том, о чем думают миллионы голов в бараньих шапках. Плакали о нем, как о друге-хранителе царицы[3], которому и она была советницею, оберегательницей[4]; плакали об отце людной семьи; чутким сердцем всякий русский на минуту как бы встал в центр царской семьи, и все, что там чувствовалось — почувствовал: вот откуда слезы. Реформа всякая может быть отменена: не отменится эта скорбь оставляемой жены; реформа всякая, закон — это заново покрашенная канцелярия: кто будет плакать, радоваться о ее покраске, только маляры пересчитают на ладони полученные пятаки. Бог с ними — народ имеет заботы выше. Он имеет первую заботу за гробом; ближайшую к ней — о жизни, как подготовлении к гробу. Государь три раза причастился перед кончиною — это существеннее его реформ; к нему, умирающему, был призван, как и мы призываем в болезни, отец Иоанн: это для всей страны дорого, драгоценно. В ожидании нового Царя, мы не задумываемся, не спрашиваем: «Что у него зажато в руке?» «что он даст нам?».

---

[1] Поразительно, и нельзя достаточно надуматься над этим явлением, что подземная антигосударственная деятельность хотя и не прекратилась при усопшем Государе, но потеряла свой бешеный, страстный, не ждущий ни минуты, характер. Просто стало тверже в жизни, из неустойчивою положения государственно-народный организм пришел в устойчивый; и это именно глубочайшим образом ответило народному характеру, если не насытило, то «заморило» на минуту главное в нем желание.

[2] Мы не разумеем здесь ничего политического, чего и не знает народ, в чем слиться с ним не может Государь: мы разумеем страх загробной жизни, страх перед грехом здесь, на земле.

[3] Замечательно печальна была ее жизнь: потеря жениха еще невестою; страх непрестанный за жизнь мужа; потеря его в полном цвете лет.

[4] В начале царствования Александра III, в обществе, по крайней мере, говорилось, что Императрица потому безотлучно всюду сопровождает Государя, что злоумышленники пожалеют *их обоих* погубить.

В истории — мы не разбойники: мы смотрим на лицо приходящего и на привет в его взорах отвечаем приветом, его скорби отвечаем скорбью — только.

IX

О, «я знаю, как и рука», получающая тысячи, протягивает тайно другую руку, чтобы обобрать куски у нищих; как обремененная ношею, та же «рука» на вопрос о той или иной подробности ей врученного дела отвечает: «Нет, я ничего в этом не понимаю, и меня утешает лишь то, что мой товарищ, получающий 15 000 и которого специально это дело касается — еще понимает меньше моего это дело»; знаю, что презрен деятельный, и «отлынивающий» почтен; мудрый сметает пыль со стола, за который сядет глупый. Все я вижу, ни на что не закрываю глаз... Но отчего нам не понять, что дурную администрацию, несовершенные законы мы должны также переносить, как зной солнца над спаленным хлебом, град после дождя, и все, чем мучимы и от чего избавиться у нас нет сил? Почему, болея, мы знаем, что это естественно, и переносим страдания; стареясь становимся безобразными и не хотим прибегать к косметикам? Зачем не принять, что в некоторой сумме страдания, мне уделенного на земле, необходимого, чтобы искупить мой грех — есть и доля, которая выражена в несправедливости ко мне судьи, в недостающем законе, в том всем, что мы переносим от людей, а не от природы? Примем это и успокоимся; обратимся лучше с заботою к вечному.

X

Мы сказали, что несправедливые законы, неискусные учреждения составляют желания народа нашего, но некоторый быт как строй, как целостность отношений человеческих, и ранее, чем их — отношений человека к Богу. Напрасно радование о совершенстве суда, когда на нем судится вчерашний пакостный порок; тщетна наилучшая должность, если на нее некого посадить, как только этого или того проходимца. Быт же — он держит меня, другого, всякого, как почва держит растение и не дает упасть ни которому.

Восстановление этого разрушенного быта — вот великая задача будущего: вот глубокое, не территориальное только решение задачи о возврате «домой». Мы возвращаемся к памяти усопшего Государя; бледною полоскою на горизонте, обещающею светлое утро, явились нам 13 лет его царствования, потому что он также мало влекся к пустым внешним преобразованиям, к этим перемещениям и перемещениям пыльных канцелярских перегородок, и более влекся, жаднее приник к коренной бытовой стороне жизни. Как умилительны эти минуты его

кончины: «...близ больного были поставлены св. Дары, и началось, среди глубокого молчания присутствующих, чтение обычных молитв. Молитву пред причастием, которую как бы перед Спасителем, перед телом и кровью Его говорит грешный: *Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедшый в мир грешныя спасти, от них же первый есмъ аз,* — эту молитву совершенного человеческого смирения Государь повторил от слова до слова с ясным сознанием каждого слова и с сердечным умилением. Когда я, по окончании священнодействия (рассказывает приобщавший его духовник), хотел удалиться, чтобы Государь мог остаться исключительно среди своей семьи, ему угодно было остановить меня, чтобы неоднократно повторить свое царское спасибо и непременно поцеловать священническую руку, которую он с усилием поднял до своих уст»[1]. По удалении духовника Государь, чувствуя приближение последних минут, позвал отца Иоанна. Отец Иоанн помазал Государю ноги и другие части тела елеем из лампады от чтимой чудотворной иконы, который прислали через местного священника окрестные жители. «Приняв с искреннею верою это благочестивое усердие, Государь выразил желание, чтобы я возложил мои руки на главу его, и, когда я держал, Его Величество сказал: «Вас любит[2] народ». — «Да, — сказал я, — Ваше Величество, Ваш народ любит меня». Тогда он изволил сказать: «Да, потому что он знает, *кто* вы и *что* вы». После этого Августейший больной стал чувствовать сильные припадки удушья, и в уста его постоянно вводили посредством насоса кислород. Ему было очень тяжело...». Так рассказывает[3] отец Иоанн, который до последнего издыхания не отходил от умирающего и прочел молитву на исход души его. Да, возлюбленный наш, и тебя «любит народ» потому что «знает, кто ты и что ты» — любит тою особенною, не мирскою, не суетною любовью, какою возлюбил и своего священника-пастыря.

Этот образ праведной кончины — лишь зачаточная черточка того великого, устойчивого в жизни, что мы назвали выше благочестивым бытом и о чем сказали, что этого именно жаждет народ наш. И он сам, усопший Государь наш, был полон жажды к нему же, поверх всего внешнего, «государственного». Но он как бы останавливался в сомне-

---

[1] Протопресвитер И. Л. Янышев, в «Церковных Ведомостях».

[2] Поразителен этот вопрос, это полуумиление, полутревога умирающего Государя: не о семье своей, не о величии трона, не о всем, чем тревожится и мятется жалкая плоть человеческая, кончаясь, думает он, но о радости нести на себе любовь народную. Конечно, это вопрос не главы политического организма, но Помазанника Божия; конечно, Государь наш по всему смыслу своей власти, – если уже нужно его относить к иерархии некоторых властей – стоит в иерархии духовной и отнюдь не светской, не гражданской, не политической.

[3] В тех же «Церковных Ведомостях».

ниях. Между ним и темным людом вся толща остальной действительности: толща учреждений, этот фасад «великой империи», толща общества, эти декорирующие фасад тропические растения — ничего не знают об этом бытовом, и, по-видимому, ничего знать не хотят...

И обладатель великой державы задумывался о границах своего обладания; солнце боялось светить всею полнотою лучей на землю, где, затеняя от него хлебные нивы, было что-то безобразное, без имени, чему, по-видимому, эти лучи были не нужны, враждебны...

Читая по складам бюллетень о болящем, девочка в страхе[1] восклицает: «Государю худо»; в тот же день и час, уже ранее, у себя пробежав тот же бюллетень, роскошные экипажи несутся также боясь... пропустить арию, занимательное *па* танцовщицы. Ей и им, очевидно, нужно разнородное...

XI

«Благочестивый быт» — это, наконец, лик праведника на том, чьего лица мы теперь не видим, в чьем имени сомневаемся; не географический термин без смысла; не странный механизм, где проданное вино окупает основываемую школу, нищенство питает роскошь и каждое завтра уже поедено сегодня; не «северная Фиваида»[2], где, прикрыв благоговейно парчою кости древних мучеников, сегодня скинув излишество туалетов, юные девы и старики сплелись любовно.

Царь, которого в раннее утро и поздний вечер народ видит идущим молиться в тот же не пышный храм, где молится и бедняк, о *нем* так хорошо, так благоговейно молится; теми же заботами и его обремененная голова тревожится, как и голова последнего бедняка в его царстве; в этих заботах раскрываются Божьи книги, чтобы найти ответ на мучительный вопрос; над этими книгами, над мучительным вопросом думает неторопливо Царь, ему указывают строки епископы, советуют благочестивые мужи. Церковь земная, временная — только как отражение небесной, точнее — усилие к ней, подготовление: когда Христос для всего грешного мира «сошел в преисподнюю», «раскрыл врата ада»

---

[1] Поразительна любовь народная к Государю, в которой, вместе с высоким нравственным смыслом, есть что-то почти физическое: в дни прощания необозримые народные массы, стекшиеся частью из окрестностей столицы, вечер и ночь, *по двенадцати часов неподвижно ожидали пропуска и прощания* с усопшим. И когда экипажи провозили мимо этих ждущих «блестящие» част общества в собор, как мне передавали: никто и ни одного взгляда не бросил на них, каждый глаз угрюмо смотрел только на одну точку впереди, которой нужно было достигнуть: *взглянуть, поклониться* и *уйти.* Поэтому, мы думаем, быть *виденным* одна из главных функций Государя.

[2] Так звали Среднюю и Северную Россию в XIV-XVI вв.

— в три дня воспоминания об этом раскрыты двери тюрем, чтобы не на словах, а делом каждый вспомнил об искупленном грехе мира. Мало слов; горяча молитва; тверд обычай — вот что значит благочестивый быт.

А где же «свод»? тысячи канцеляристов с заткнутым за ухо пером? тысячные ротонды, экипажи на резиновых шинах?

Все ушло в хлеб — *после* того, как все ушло в молитву.

Это — завтра; а сегодня... утро уже смотрит в окно, свеча погасла почти. Еще две ассигновки не обревизованы; нужно спешить в департамент...

В. Розанов

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта
http://varvarin.ru